

Михаил Булгаков, его время и мы

Коллективная монография под редакцией Гжегожа Пшебинды и Януша Свежего, Краков 2012

*Екатерина Иосифовна Орлова**

Россия

М. А. БУЛГАКОВ И М. А. ВОЛОШИН

Поставив на первое место в заглавии этой статьи имя Булгакова, мы отдали дань не только его 120-летию, но и тому месту, которое писатель занял в истории литературы почти уже столетие спустя после своего дебюта. Но в литературной жизни 1920-х годов имена Булгакова и Волошина означали совершенно разные весовые категории. Первая книга стихов Волошина вышла в 1910 году и представила сложившегося, профессионального поэта, к тому времени, уже достаточно известного. Булгаков же вступает в литературу только в 1920-е годы. Волошин был одним из немногих современников, кто высоко оценил первый булгаковский роман. Как установила М. Чудакова, Булгакову стал известен отзыв Волошина из письма к Н. С. Ангарскому в марте 1925 года:

В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи... И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют на-

* Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой истории русской литературы и журналистики факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

чинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского¹.

История общения двух писателей выглядела следующим образом: инициатива личного знакомства принадлежала Волошину; летом 1925 года Булгаков с женой гостят у Волошина в Коктебеле, а на прощанье перед отъездом Волошин дарит свою акварель с надписью: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усадьбы, с глубокой любовью»². Вторым даром Волошина стала его книга *Иверни*: в инскрипте Волошин призывает Булгакова «довести до конца трилогию *Белой гвардии*»³. В Москве в марте 1926 года Булгаков участвует в вечере в пользу Волошина; позднее Волошин присылает ему, как и другим участникам мероприятия, еще одну акварель. В феврале 1927 года в Москве Волошин встречается с Булгаковым и посещает спектакль *Дни Турбиных* в МХАТе.

Но есть и еще два обстоятельства, на которые, кажется, до сих пор не обращали внимания исследователи и которые не могли не сблизить двух писателей. Одно из этих обстоятельств можно назвать главным, другое – второстепенным.

Начнем с второстепенного. Нельзя не увидеть нечто общее в том, как в 1920-е годы складывается литературная репутация, подготавливающая прижизненную литературную судьбу обоих писателей. В 1923–25 годах Волошин и Булгаков публикуются в одних и тех же немногочисленных изданиях – в газете «Накануне», журнале «Россия», альманахе «Недра». Об обоих пишут одни и те же критики, причем отзывы почти повально охульные.

Вероятнее всего, первым произведением Булгакова, которое прочел Волошин, стала повесть *Дьяволиада* в 4-м выпуске альманаха «Недра». В 5-м выпуске публикуется поэма Волошина *Космос*, а в 6-м Волошин и Булгаков «встречаются»: публикуется поэма Волошина *Россия* и повесть Булгакова *Роковые яйца*. Неудивительно, что и в критических отзывах их имена часто появляются рядом. Настоящий же взрыв откликов в связи с Булгаковым происходит после постановки в 1926 году *Дней Турбиных*. Дело доходит даже до того, что он становится героем фельетона Вадима Шершеневича:

¹ Цит. по: М. Чудакова, *Жизнеописание Михаила Булгакова*, Москва 1988, с. 246.

² Там же, с. 251.

³ См.: В. Купченко, *Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1917–1932*, Санкт-Петербург – Симферополь 2007, с. 270.

– Надо написать большую статью об одном молодом писателе, который в последнее время начинает выдвигаться.

– Что вы, что вы! Опять о Булгакове! Не могу!

Так иронизировал в декабре 1926 года В. Шершеневич, воспроизводя в своем фельетоне воображаемый диалог редактора театрального журнала «с одним очень умным человеком. Он, кажется, критик»⁴.

Реплика этого «кажется, критика» была весьма злободневной: ни до, ни после Булгаков не встречал в таком изобилии упоминаний о себе (даже новая кампания, развязанная в 1928 году под лозунгом «правая опасность и театр», уступает тому всплеску, что наблюдаем в году 1926). Первая же статья, специально посвященная Булгакову, появилась в конце 1926 года.

Литературная судьба Булгакова печальна: до сих пор имя его затрагивалось лишь в небольших рецензиях, которые отводили ему обычно полочку между Эренбургом и Замятиным, и этим оценка Булгакова, как писателя, исчерпывалась⁵.

Любопытно, даже парадоксально: Шершеневич в своем фельетоне показывает ситуацию, когда о Булгакове редактор даже слышать больше не может, – но и по-своему права Мустангова, говоря о печальной булгаковской судьбе: множество упоминаний, оценок – и ни одной статьи, специально посвященной писателю. Кстати, о сходной ситуации пишет Волошин Е. Ланну в 1925 году:

[...] вслед за каждым положительным отзывом обо мне следует целый залп ругательств и ушаты помоев. И все это не только носит характер политического доноса, но и влечет за собой последствия политического доноса⁶.

Статья Мустанговой о Булгакове, собственно, представляла попытку политического портрета, после которого лишь немногие критики осмелились бы выступить с апологией Булгакова. Вот ее основные тезисы:

А между тем Булгаков заслуживает внимания марксистской критики двумя неоспоримыми качествами: 1) несомненной талантливостью, умением делать литературные вещи и 2) не-нейтральностью его, как писателя, по отношению к советской общественности, чуждостью и даже враждебностью его идеологии основному устремлению и содержанию этой общественности⁷.

⁴ В. Шершеневич, *Общее благополучие*, «Жизнь искусства» 1926, № 50, с. 6–7.

⁵ Е. Мустангова, *О Михаиле Булгакове (в связи с постановкой «Белой гвардии» / «Дней Турбиных» / в Моск. Худож. Театре)*, «Жизнь искусства» 1926, № 45, с. 13.

⁶ «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. *Письма. Документы. Материалы*, Москва 2007, с. 50.

⁷ Е. Мустангова, *О Михаиле Булгакове...*

Получается, что именно талантливостью Булгаков, по логике критика, и опасен советскому обществу. «Агент новой буржуазии», «злое и лживое нападение на рабочий класс (*Роковые яйца*)»⁸ – вот распространенные характеристики Булгакова, в то время как Волошин был назван в одном из обзоров «живым трупом»⁹.

Рапповские критики разносили Булгакова и Волошина по разным группам, каждый в соответствии со своей классификацией, более или менее разветвленной и детальной, но одинаково уродливой. Итог же своего участия в литературном процессе подвел сам писатель, когда подсчитал, что на 298 отрицательных отзывов пришлось лишь 3 положительных. Кстати, удивительным образом булгаковская печальная статистика перекликается с тем, как писал о себе в 1924 и 1925 годах Волошин:

[...] меня много ругали и поносили, но никто не взвешивал [...] еще до сих пор в русской критике не было ни одной положительной статьи обо мне, если не считать краткой рецензии Брюсова о моей первой книге, да неожиданного отзыва Львова-Рогачевского [...] за который на меня поднялась такая травля в прошлом году. А кто только меня не ругал и не травил, и теперь, и прежде¹⁰.

Можно увидеть много общего в том, как оценивают в печати произведения Булгакова и Волошина. Есть, однако, и различия. К примеру, критик Н. Коротков отмечает:

Если можно простить Булгакову его «равнение на потребителя» и безобидное остроумие, то ни самому Волошину, ни редакции «Недр» поэмы *Россия* простить нельзя¹¹.

Разбирая повесть *Роковые яйца*, а точнее, свои ощущения от нее и затем от поэмы Волошина, В. Правдухин рассуждал:

[...] прочитаешь последние строки повести – и недоумеваешь, сетуешь на то, как автор затушевывает, притупляет всю повесть, запутывает все концы, – выстрел оказывается холостым [...] Булгаков повторяет упорно свои ошибки: так раньше, на подобном же анекдоте построил он свой рассказ *Дьяволиада* [...].

⁸ А. Зонин, *Плюсы и минусы (Беглые заметки)*, «Жизнь искусства» 1926, № 44, с. 5.

⁹ И. Нович, *Дерево современной литературы*, «На литературном посту» 1926, № 3, с. 24.

¹⁰ «...Темой моей является Россия»..., с. 40, 49.

¹¹ Н. Коротков, «Недра». Книга шестая. Издательство «Недра». М., 1925 г., «Рабочий журнал. Литературно-художественный, общественный и научно-политический двухмесячник „Кузницы“», Москва – Ленинград 1925, № 3, с. 156.

Поэма Волошина представляет собой историко-философский трактат, написанный густыми и тяжеловатыми крепкими словами. Волошин субъективен: его космический национализм с безликим и глухим духом истории объективно далеко не обязателен. Он – лишь свидетельство об яркой поэтической разновидности человеческой особи, социально довольно безразличной¹².

Была, пожалуй, лишь одна рецензия на шестую книгу «Недр», которая не звучала в унисон с большинством голосов. Но, вероятно, не случайно ее автор не подписался полным именем:

Повесть Булгакова – это не просто «легкое чтение». Лица, типы, картины – все это невольно запоминается, все это злободневно и метко. Маленькой фразы достаточно, чтобы осветить ярким лучом смеха как будто неприметный уголок нашей сегодняшней жизни [...].

Всем читавшим повесть Булгакова я задам один вопрос: какое осталось у них впечатление от нашего «завтра», изображенного в повести *Роковые яйца*? Произвело ли на них это «завтра» гнетущее, упадочническое впечатление? По моему скромному мнению, едва ли сумеет какой-нибудь автор утопического, р-р-революционного романа заронить в своих читателей такое же чувство могучей жизнерадостной страны, нашего Нового Света. А восприятие читателя есть восприятие самого художника¹³.

Итак, по Л-ву, *Роковые яйца* – самая заметная прозаическая вещь в альманахе. Говоря же о поэзии, представленной в «Недрах-6», журналист отмечает лишь поэму Волошина:

Только поэма М. Волошина *Россия* оставляет глубокое и сильное впечатление. Странны, конечно, его мысли – мысли сменовеховца, «Пильняка в поэзии», но красота многое может искупить¹⁴.

Станным кажется нам теперь сближение Волошина с Пильняком, но заслуживает внимания эта редкая для 1920-х годов высокая оценка поэмы; от анализа содержания ее, однако, рецензент уклонился. Любопытно, что писавшие о Волошине, как и в случае с Булгаковым, повторяют друг друга: о «сменовеховстве, пильняковщине в стихах» говорил не один Л-в. «Вагонной литературой», но «высшего качества» назвал *Белую гвардию* отнюдь не отрицавший Булгакова Н. Осинский¹⁵. «Повесть Бул-

¹² В. Правдухин, *Недра. Лит.-худ. сборники. Книга шестая. Изд-во Недр. М., 1925, «Красная новь» 1925, № 3, с. 287–289.*

¹³ Л-в., «*Недра*» – книга шестая, «Новый мир» 1925, № 6, с. 152. О Булгакове как о писателе «с европейской, уэллсовской складкой» писал А. Воронский (См.: «Красная новь» 1925, № 10, с. 254–255).

¹⁴ Там же, с. 152.

¹⁵ «Правда» 1925, 28 июля.

гакова [*Роковые яйца*. – Е. О.] – легкое вагонное чтение»¹⁶, – утверждал и Н. Коротков. С легкой руки Замятина эпитет «бойкий» дважды был применен к Булгакову¹⁷.

И А. Воронский, и критики «Перевала» тоже пишут о Булгакове и Волошине. Однако при всей широте эстетических позиций, и их отношение к обоим писателям было далеко от безоговорочного принятия. Опять-таки, они сходятся в оценке того и другого. Вот как отозвался – одним из немногих – А. Лежнев на *Космос* Волошина, опубликованный, как уже говорилось, в 5 книжке «Недр»:

Лучше других *Космос* Волошина, род философии истории или, вернее, истории идеологий в стихах. Некоторые характеристики эпох великолепны, – например, характеристика средневековья. Что же касается нашей эпохи, то, по мнению поэта, наука, уничтожив ньютоновско-лапласовскую картину мира, доказала, что

Все относительно:

И бред и знание.

Срок жизни истин:

Двадцать – тридцать лет –

Предельный возраст водовозной клячи [...]

Это, конечно, не так. Утверждения М. Волошина сводятся к тому, что мир – только наше представление, или, если и существует, – непознаваем. Утверждение далеко не новое и высказывавшееся в эпоху господства теорий Ньютона – Лапласа. Современная наука исключает такого рода философии¹⁸.

Как видим, Лежнев был совершенно категоричен в том, что касалось осмысления современности. Наука (читай: марксистская), в которую он свято верил, должна была, по мысли критика, объяснить и обосновать справедливость переустройства мира. Никакой иной взгляд не признавался имеющим право на существование. Так давала знать о себе методология даже лучших наблюдателей литературного процесса 1920-х годов: тот способ мышления, на который Лежнев признавал право Волошина в отношении средних веков и всех других эпох, не мог быть применен в отношении современности. В масштабе же мышления Волошина, без преувеличения планетарном, современность никак не могла быть возведена в абсолютную степень.

¹⁶ Н. Коротков, «Недра». Книга шестая..., с. 156.

¹⁷ См.: Е. Замятин, *О сегодняшнем и о современном*, «Русский современник» 1924, кн. 2, с. 266; А. Лежнев, *Художественная литература*, «Печать и революция» 1927, № 7, с. 106–107.

¹⁸ А. Лежнев, «Недра». Литературно-художественный сборник. Книга пятая. Изд-во Мосполиграф. 1924. Стр. 284, «Красная новь» 1924, № 6 (23), с. 355.

В 1925 году Лежнев отозвался о *Белой гвардии* – достаточно осторожно, заметив, что «в трактовке действующих лиц автор старается подражать Льву Толстому, изображая своих офицеров ни негодяями, ни героями [...]»¹⁹; он мягко попенял Булгакову за поэтизацию персонажей и оставил вопрос об «идеологической перспективе» романа до завершения его публикации.

А в статье 1924 года *Заметки о журналах* А. Лежнев, касаясь изданий «Россия» и «Русский современник», пишет о Волошине так:

Есть у нас такие специалисты по патриотическим истерикам, сделавшие из «любви к родине» профессию. Секрет их производства несложен: «стиль рюсс» да немножко Достоевщины, да немножко от Блока, да демонстрация собственного душевного благородства. В таких стихах есть всегда специфический привкус, специфическая окраска. У М. Волошина она особенно сильна. Современная Россия, возникшая в революции, представляется ему гулящей, беспутной, и он не жалеет красок для изображения ее «непотребства» [...]»²⁰.

Критик цитирует стихотворение *Русь гулящая*, но оставляет его даже без комментария, настолько собственное возмущение кажется ему праведным в отношении Волошина. И, конечно, Булгакова он также зачисляет в правый фланг в литературе.

Булгаков – писатель молодой, начавший писать лишь в советскую эпоху. Его бойкий талант, фрондерство и испуг рецензентов создали ему большую известность. Он остроумен, иногда зол, но редко выходит за пределы фрондерства, – зубы его не оставляют глубоких следов²¹.

Этого, однако, было достаточно, чтобы через два года, когда ту же характеристику А. Лежнев повторил в совместной с Д. Горбовым книге *Литература революционного десятилетия*, получить отповедь, в 1929 году граничившую уже с политическим доносом. По мысли оппонента перевальцев, назвать Булгакова лишь «фрондером» значит дать ему слишком мягкую характеристику²².

И еще раз в книге Лежнева и Горбова встретились Булгаков и Волошин. На этот раз о Волошине писал Д. Горбов:

¹⁹ А. Лежнев, *Литературные заметки*, «Красная новь» 1925, № 7, с. 269–270.

²⁰ А. Лежнев, *Заметки о журналах*. 1. *На правом фланге (о журналах «Россия» и «Русский современник»)*, «Печать и революция» 1925, кн. 6, с. 126.

²¹ А. Лежнев, *Художественная литература...*, с. 106–107.

²² См.: Б. Ольховый, *О попутничестве и попутчиках*, «Печать и революция» 1929, № 5, с. 11.

Наконец, вот стихотворение М. Волошина *Святая Русь* [...]. Здесь Октябрьская революция рассматривается как разгром, как бесхозяйственность, как растрата ценностей, накопленных веками. Однако в заключение М. Волошин отказывается осуждать Россию за ее поведение.

И приведя заключительную строфу стихотворения, так разительно контрастирующую со всем комментарием, который скорее хочется назвать грубым и неточным пересказом, критик резюмирует: «Вот тот предел, дальше которого символисты, в сущности, не пошли»²³.

Мы видим теперь, однако, что, к сожалению, и критики-перевальцы не пошли далеко в своих оценках, которые были – что касается Горбова – попросту беспомощно-плоски, по крайней мере в упомянутых отзывах. И перевальцы, чья эстетическая позиция была значительно шире рапповской, тоже не приняли ни Булгакова, ни Волошина. Они все же оказались в плену своей эпохи, тогда как оба писателя мыслили свое время как трагически важный, поворотный, судьбоносный, но все-таки один момент (хотя, возможно, длительный) в русской и общечеловеческой истории.

И А. Воронский занял в отношении Булгакова двойственную позицию. Не отрицая дарования писателя, называя *Роковые яйца* «вещью чрезвычайно талантливой и острой», он резюмировал критические споры так:

Булгакова окрестили контрреволюционером, белогвардейцем и т. п., окрестили, на наш взгляд, напрасно, но для критических выпадов все же были серьезные основания [...]. Почему бы и в самом деле не написать [...] художественный памфлет? Основной недостаток Булгакова в том, что он не знает, во имя чего нужны такие памфлеты, куда нужно звать читателя. Или это не дело писателя? В нашу эпоху, когда идет бой не на жизнь, а на смерть? [...] Писатель сам подает повод для всяческих кривотолков и в конце концов неизвестно, куда он ведет нас: может быть, совсем не туда, куда хочет идти наш новый читатель, которому дорог Октябрь²⁴.

Но даже и такое, весьма сдержанное отношение к Булгакову вызвало нападки на Воронского со стороны налитпостовцев – рапповцев. Ему припомнили, что еще раньше он называл *Роковые яйца* и *Белую гвардию* вещами «выдающегося литературного качества»²⁵. Но задумываясь о возможности сатиры в советской литературе, Воронский хотя и не отрицает

²³ А. Лежнев, Д. Горбов, *Литература революционного десятилетия*, Харьков 1929, с. 124.

²⁴ А. Воронский, *Писатель, книга, читатель*, «Красная новь» 1927, № 1, с. 237–238.

²⁵ А. Воронский, *О том, чего у нас нет*, «Красная новь» 1925, № 10, с. 254–259.

ее, но считает нужным напомнить, что допустима лишь одна идеология – марксистская – и что «с вершин, с вершин эпохи нужно смотреть [...]»²⁶.

Можно сказать, что А. Воронский, Н. Осинский, публиковавший Булгакова Н. Ангарский – коммунисты старшего поколения, с опытом подпольной работы, арестов, ссылок – не выказывали к писателю ни враждебности, ни агрессии, в отличие от своих ретивых младших оппонентов, дельцов от литературы. Пожалуй, они действительно смотрели с вершин **своей** эпохи. Но в том-то и дело, что Булгаков и Волошин смотрели на происходившее в России принципиально с другой точки зрения, мало кому из современников доступной. И в этом обнаруживаются глубинные точки пересечения у этих писателей, столь несхожих по своей поэтике.

И тут мы подходим к самому главному. В понимании картины мира и истории у Волошина и Булгакова было нечто общее. Это прежде всего сознание того, что разворачивающаяся на их глазах история – лишь часть даже не только российского, а общемирового процесса. Об этом говорят уже два эпиграфа к *Белой гвардии*. Первый – пушкинский – включает происходящие в Городе 1918 года события в контекст русской истории; при этом сам автор волевым движением выбора эпиграфа включает себя в определенный историко-литературный контекст. Второй же эпиграф – из Апокалипсиса – не только говорит о масштабности происходящих событий, но также обозначает проходящую через весь роман тему соотношения двух времен, двух историй: российской и всечеловеческой. Эта тема развивается уже в первой фразе романа.

Волошин в первый год «русской уособицы», по его признанию, читает только газеты и Библию. Через его стихи этих лет (впрочем, начиная еще с *Предвестий* 1905 года) проходят мотивы Ветхого и Нового Завета. Но он обращается не к Рождеству, а к образам Распятия и Воскресения Христа. «В часы Голгоф трепещет смутный мир» – в этом необычайном и ни у кого не встречавшемся «умножении» образа распятия уже тогда сказался характер осмысления Волошиным событий текущих и предстоявших. В стихотворении *Предвестия* возникает образ разорванной скинии, а на небе появляется символическое видение троящегося багрового солнца. Оказавшись 9 января 1905 года в Петербурге, Волошин наблюдал редкое оптическое явление: в тот день на небе действительно были видны три солнца. Это тоже было прочитано поэтом как предзнаменование будущих катастроф:

²⁶ А. Воронский, *Литературная хроника*, «Красная новь» 1922, № 6, с. 344.

В багряных свитках зимнего тумана
Нам солнце гневное являло лик втройне,
И каждый диск сочился, точно рана,
И выступила кровь на снежной пелене²⁷.

Стихотворение *Красная Пасха* (1921), рисующее террор в Крыму, он заканчивает строками, которые потрясают не только самим образом, но и тем, что нам открывается в поэте такой способ мышления, при котором этот образ делается возможным:

Зима в тот год была Страстной неделей
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал (РР, с. 172).

И у Булгакова в *Белой гвардии* зимнее солнце Города является героям кроваво-красным:

Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный купол Софии...²⁸

Мотив Апокалипсиса, завязавшись эпиграфом, проходит через весь роман. Откровение Иоанна Богослова открывает отец Александр и читает строки из него Алексею Турбину. Но ту же книгу читает пациент Турбина, склонный к маниакальности сифилитик, в недавнем прошлом безбожник поэт-футурист Русаков.

И для Булгакова, и для Волошина несомненна связь между происходящим на небе и на земле. Вспомним хотя бы еще две сцены из романа: церковный молебен при вступлении в Город Петлюры – молебен, похожий больше на бесовское действо, – и образ всенощной, которую служат в ночном небе, – финал *Белой гвардии*, отсылающий, конечно, к Толстому, у которого всегда образ неба (в том числе звездного) соотносится с тем, что происходит в мире людей. Но в волошинской космогонии даже в еще большей степени, чем у Булгакова, соотносятся «верх» и «низ», небо и земля, и это характерно, кажется, не только для стихов

²⁷ М. Волошин, *Россия распятая*, Москва 1992, с. 157. Дальше ссылки на это издание даются в тексте в скобках с обозначением: РР и указанием страницы.

²⁸ М. Булгаков, *Собрание сочинений в пяти томах*, т. 1, Москва 1992, с. 391. Дальше ссылки на это издание даются в тексте в скобках с обозначением: Б 1 и указанием страницы.

революционных лет, но именно в это время проявляется особенно отчетливо. Примеры для подтверждения данного тезиса можно брать почти наугад. В стихотворении *Плаванье*: «А здесь безветрие, безмолвие, бездонность... / И небо и вода – две створы / Одной жемчужницы»²⁹. Правда, этой картине противостоит охваченный «красным исступленьем расплесканных знамен» город. Но ненарушенный мир, по Волошину, един, и пространства верха и низа симметричны. Единство его мышления проявляется и тогда, когда он смотрит на происходящие в современности события. Когда почти одновременно в 1919 году большевистское и белогвардейское информационные агентства издают его *Демонов глухонемых* (оба – в целях агитации), Волошин с удовлетворением говорит об этом. Ему, с начала мировой войны отказавшемуся видеть в ком бы то ни было врагов («Я и германской омелы не предал, / Кельтскому дубу не изменил»), тем более претило разделение соотечественников на белых и красных. Происходящее в России он понимает как трагедию.

В 1919–1923 годах Волошин создает цикл *Усобища*. В 1923 Булгаков начинает писать *Белую гвардию*. Как кажется, есть сходство в отношении обоих писателей не только к октябрьской, но и к февральской революции. В отличие от большинства людей своего круга, уже февральскую революцию Волошин не принял и в самом по видимости мирном течении ее видел залог будущих кровопролитий. У Булгакова в романе красную повязку надевает на рукав только Тальберг, который затем – в помещении цирка – руководит выборами «гетмана всея Украины», после же бежит с немцами. Волошин в статье с характерным названием *Самогон крови* пишет о феврале 1917 года:

Помню, как в те дни, когда праздновалась бескровность русской революции, я говорил своим друзьям:

«Вот признак, что русская революция будет очень кровавой и очень жестокой» (РР, с. 102).

Булгаков в романе, показывая «русский бунт», апеллирует не только к Пушкину, но и к Толстому, в высшей степени смело, можно сказать – полемически переосмысляя толстовский образ:

Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, явственно видный, пред-

²⁹ М. Волошин, *Собрание сочинений*, под общей ред. В. П. Купченко и А. В. Лаврова, т. 1, Москва 2003, с. 332. Дальше ссылки на это издание даются в тексте в скобках с обозначением: В 1 и указанием страницы.

шествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалившейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки (Б 1, с. 237).

Понятно и отношение обоих писателей к событиям современности. И для Волошина, и для Булгакова нет деления на белых и красных. И Най-Турс, и вахмистр Жилин в сне Турбина пребывают в раю, но и там, оказывается, приуготовлено место «для большевиков, с Перекопу которые», – передает Жилин Алексею слова апостола Петра (Б 1, с. 233); «все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные», – говорит Жилину сам Господь Бог. «Молюсь за тех и за других», – пишет Волошин.

Есть, кажется, общее и в отношении Булгакова и Волошина к интеллигенции. В лекциях, с которыми поэт выступает в 1918–19 годах в городах юга России, он говорит об «интеллигентской идеологической шелухе» (РР, с. 51), о безответственности всего русского общества, в том числе о «государственной беспочвенности русской интеллигенции», которая «не смогла убедить народ в том, что он принимает из рук царского правительства государственное наследство со всеми долгами и историческими обязательствами, на нем лежащими, – не смогла только потому, что в ней самой это сознание было недостаточно глубоко» (РР, с. 48). Интеллигенцию, приветствующую революцию, Волошин уподобляет «герою трагедии, который встречает цветами и плясками вестника, несущего ему смертный приговор, принимая его за жданного вестника радости и освобождения» (РР, с. 118–119); в 1917 году, по словам поэта, «русское общество (интеллигенция) и большинство политических партий [...] радовались симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления» (там же).

Понятно, что Булгаков в 1920-е годы предпочитал не высказываться на подобные темы. Но, судя по его роману и рассказам, к нему как бы примыкающим, и его герои, причем мучительно, размышляют об исторической и личной ответственности. «Все мы в крови повинны» – говорит Елена перед образом Божьей Матери. И тот же мотив – в стихотворении Волошина 1917 года *Трихины*, напрямую связанном с Достоевским, которого вспоминают и герои *Белой гвардии*. В этом тоже оба писателя сходятся. И, конечно, чувством ответственности продиктованы строки, заключающие поэму *Россия*: «И чувствую безмерную вину / Всея Руси – пред всеми и пред каждым» (В 1, с. 380).

Настоящими трагическими героями можно назвать Малышева и Най-Турса. В этом булгаковский роман был беспримечен. Но если Волошин

идеями и образами Достоевского проверяет происходящее в современности и видит в ней его сбывшиеся пророчества, то в романе Булгакова «недочитанный Достоевский» вызывает у его героев не одинаковые чувства. «Мужички-богоносцы достоевские! У-у... вашу мать!» – кричит замерзший, измученный Мышлаевский; он же именует «богоносным хреном» старика, отказавшегося отдать сани «офицерне» (Б 1, с. 192, 193). Но отнюдь не случайным кажется то, что слова о «вере православной, власти самодержавной» как единственно возможном для России пути произносятся в сцене попойки и тем самым безнадежно снижаются в глазах автора. В отличие же от Мышлаевского, Алексей Турбин наяву повторяет слова из *Бесов* («Русскому человеку честь – только лишнее бремя...», Б 1, с. 217), а во сне гонится с браунингом за мерзким кошмаром, чтобы пристрелить «гадину». Бесы у Булгакова глумятся и сквернословят. Тот же образ у Волошина в стихотворении *Северовосток*: «Расплясались, разгулялись бесы / По России вдоль и поперек» (РР, с. 176).

Что же касается отношения к большевикам, то и тут у Булгакова и Волошина можно увидеть общее. То, что новый режим был обоим вполне чужд, уже известно. Но оба понимают, что это явление долгосрочное и отмахнуться от него нельзя, что, вероятно, у большевизма есть глубокие исторические корни. Это явствует из всего текста *Белой гвардии*, но у Волошина проявляется более отчетливо. Он выстраивает свою парадоксальную, на первый взгляд, концепцию русской истории и в лекциях, и в поэме *Россия*. Никто из критиков 1920-х годов, хотя и писавших о Волошине и Булгакове почти через запятую, не сопоставил поэму *Россия* с булгаковским романом. Оба произведения выходят практически одновременно – в 1925 году. Но и другие волошинские стихи как будто напрашиваются на сопоставление с *Белой гвардией*. Кстати, *Демоны глухонемые* издаются в Харькове в 1919 году и бесплатно распространяются в виде отдельных листов в Добровольческой армии в то самое время, когда Булгаков мобилизован в эту армию как врач. Конечно, мы не можем ни подтвердить тот факт, что Булгаков читал тогда волошинские стихи, ни опровергнуть его, – но поэму *Россия*, напечатанную под одной обложкой с *Роковыми яйцами*, он, несомненно, не мог не прочесть.

Поражают общие с волошинскими образы не только из *Демонов глухонемых*, но и из других стихов: прежде всего, северный ветер, несущий снег, метель, символизирующий стихию вздыбленной истории. Одно из важнейших, программных стихотворений Волошина так и называется: *Северовосток*. (Для обоих писателей, родившихся, к слову, в Киеве, идущий из Москвы ветер истории воспринимается как северный;

на Украине расположен романский Город Булгакова, крымские события изображаются в стихах Волошина о гражданской войне). Волошин пишет и о параде в честь победы революции весной 1917 года на Красной площади Москвы, где люди с красными кокардами несут транспаранты, на которых написаны «неподобные, нерусские слова» (в статье Волошин расшифровывает эти слова: «Без аннексий и контрибуций»), и не замечают, как здесь же «На паперти слепцы поют / Про смерть, про казнь, про суд» (стихотворение *Москва* – РР, с. 43). Вид же этих нищих говорит о древней российской истории, о том, что нынешние события уходят своими корнями в глубокое прошлое России (можно подумать, что так же полагал и Булгаков) «и что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской Земли, нового Смутного времени» (РР, с. 43). У Булгакова в Городе нищие сидят перед собором и тоже контрастируют с возбужденной сиюминутными событиями толпой.

Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о Страшном суде [...]. Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками (Б 1, с. 384–385).

Обращает на себя внимание дважды повторенный эпитет «гнусавый», упоминание о денежных бумажках, что бросают певцам в их картузы прохожие. У Булгакова вид этих нищих не менее отталкивающий, они так же страшны, как и все участники молебна.

Калеки, убогие выставляли язвы на посиневших голеньях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятые лиры (Б 1, с. 385 – 386).

Совпадение сцен поражает тем более, что по крайней мере в конце 1925 года Волошин так и не читал окончания *Белой гвардии*³⁰. Значит, и финал романа оставался ему неизвестен. Но и для него было характерно задумываться о времени, «когда и тени наших тел и дел не останутся на земле» (Б 1, с. 428). «Как Греция и Генуя прошли, / Так минет все – Европа и Россия» (В 2, с. 82), – пишет он в стихотворении-кредо *Дом поэта*.

И в прижизненной судьбе обоих писателей видятся нам теперь общие черты. «При жизни быть не книгой, а тетрадкой», пережить крити-

³⁰ Об этом он с сожалением пишет Е. А. Ланну. См.: «...Темой моей является Россия»..., с. 79.

ческую ругань – Волошин как будто предвидел все это в 1923 году, когда в стихотворении *Доблесть поэта* (кстати, в одном из вариантов оно называлось *Мастер*) писал:

Творческий ритм от весла, гребущего против течения,
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих.

[...]

В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:

Помнить, что знамена, партии и программы

То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.

Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:

Совесь народа – поэт. В государстве нет места поэту (РР, с. 209).